Каким безмятежным и веселым был июнь 1941 года! Закончив третий курс биологического факультета Ленинградского университета, я проходила практику в заповеднике «Лес на Ворскле», неподалеку от Харькова. Мы жили в уютном чистеньком общежитии, ходили на дальние экскурсии, собирали гербарии. Нашим руководителем был Владимир Николаевич Сукачев , тогда профессор, впоследствии академик – большой ученый и настоящий старый русский интеллигент. Он трогательно заботился о студентах, каждый день приказывал истопить для нас баньку: стояла жара, мы возвращались потные, пыльные, так приятно было помыться. Вечерами, когда, собравшись за большим столом, мы разбирали растения, он подсаживался к нам, расспрашивал о наших семьях, рассказывал о своих многочисленных путешествиях. Нам было и лестно, и интересно беседовать с ним, хотя мы ужасно стеснялись, тем более что профессор церемонно величал всех по имени и отчеству. При биостанции была кобылка с необычным для лошади именем Верка. Надо было случиться, что одну из студенток тоже звали Верой. Иногда мы во главе с Сукачевым отправлялись в поездку на линейке – длинной повозке. Правил профессор, время от времени он грозно покрикивал: «Но-о! Верка!» и тут же оборачивался и учтиво прибавлял: «Извините, Вера Михайловна!». Мы умирали со смеху. Впрочем, тогда нам всё казалось смешным. После окончания нашей практики Владимир Николаевич собирался в экспедицию на Кавказ и обещал взять с собой трех студенток, в том числе и меня. Я была страшно горда и с нетерпением ждала этой поездки.

Все наши планы и надежды, так же как планы и надежды миллионов других людей, были разрушены в одно мгновение сообщением о нападении Германии на Советский Союз. Студенты и преподаватели, собравшиеся во дворе вокруг репродуктора, просто остолбенели от неожиданности и удивления. Мы тогда плохо разбирались в политической обстановке, да и трудно было в ней разбираться, черпая информацию из советской прессы. Моя семья не принадлежала к числу горячих сторонников Советской власти, любви и доверия к товарищу Сталину тем более никто из нас не испытывал, но пропаганда все-таки делала свое дело. И вот теперь я слушала, не веря своим ушам, что непобедимая Красная армия, вместо того, чтобы «отогнать врага от границы и кончить войну на его территории малой кровью», поспешно отступает, а немцы занимают наши города. Молодые военнообязанные преподаватели – Георгий Александрович Новиков и Олег Владимирович Петров стали готовиться к отъезду. Сукачев пытался всех успокоить, наивно уверяя, что война продлится недолго, и мы сможем переждать ее в заповеднике.

Я систематизировала эти записи, добавила то, что помнила по устным рассказам мамы и постаралась сохранить ее живую интонацию.

Здесь упоминаются люди, о которых я, к сожалению, не могу сообщить никаких точных биографических сведений. Их имена не вошли в справочники, они были просто хорошими людьми, жили достойно и скромно, честно трудились и делали много добра. Но только до тех пор, пока существуют такие люди, общество может вынести самые тяжелые испытания.

Хочу добавить еще несколько слов, может быть, и не связанных непосредственно с этой публикацией. Существует множество книг и фильмов (часто очень талантливых), где описывается болезненное столкновение ребенка, подростка с миром взрослых – жестоким, враждебным, вызывающим на бунт. Со мной такого не было. Мир взрослых, в котором росла я, был добрым и мудрым. Моя семья – мама и папа, бабушка, дяди и тети, их многочисленные друзья, ставшие родными – была для меня обителью счастья, а враждебный мир начинался лишь за ее пределами. Надеюсь, что публикуемые записки хоть в какой-то степени передают атмосферу этой семьи.

Публикацию подготовила Ольга Сергеевна Муравьева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела пушкиноведения ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом).

Однако вскоре пришла телеграмма из университета с требованием немедленно возвращаться в Ленинград.

Вскоре нас, студентов и преподавателей (из числа тех, кто не подлежал призыву в армию), отправили рыть окопы под Новгородом. Предполагалось, что едем на один день, поэтому мы не взяли с собой ни еды, ни одежды. В результате задержались на целую неделю. Мы старательно обрывали лопатами берег речки, хотя вряд ли такие противотанковые эскарпы представляли собой серьезное препятствие для немецкой техники. Немцы же кружили прямо над нами и сбрасывали с самолетов листовки. Одну из них помню до сих пор: «Ленинградские гражданочки, перестаньте рыть канавочки – приедут наши таночки, зароют ваши ямочки». Это было, конечно, глупо и смешно, но только нам было уже не до смеха. Жили мы в шалашах, которые сами соорудили из веток, по утрам в обуви стояла холодная роса. Еды практически не было, раз в день привозили в больших бидонах какую-то гороховую баланду. В наш лагерь время от времени забегали военные из находившейся рядом части. «Что вы здесь делаете?! – изумлялись они, – немцы уже близко, наши войска отводят к Ленинграду!» Мы страшно боялись, что о нас забыли, но самовольно покинуть свои «укрепления» не решались. Наконец, мы получили приказ возвращаться и ранним утром двинулись в путь.

Мы шли по одному друг за другом по узкой тропе, получая команды от идущего впереди: не сходить с тропы, не касаться кустов, не наступать на доску, не задеть камень и т. д. Так мы добрели до маленькой станции, название ее не помню, расположена она была между Новгородом и станцией Батецкой. К несчастью, эшелон в Ленинград уже ушел, следующий отправлялся на другой день. Послали делегацию в соседний колхоз в надежде добыть еды, но, увы, у них даже хлеба не нашлось. Ребята принесли на большом листе лопуха ком свежего сливочного масла. Делать было нечего – разделили и съели. Между тем, становилось по-настоящему страшно: над нами шли воздушные бои, летали осколки. Одного преподавателя ранило. Утром пришел долгожданный эшелон. Поезд шел очень медленно, все просто изнывали от нетерпения. Ничего еще не понимая, мы стремились в Ленинград, как в надежное убежище…

Город сразу же поразил нас неожиданно чужим, незнакомым обликом. Окна и стеклянные двери домов были заклеены крест накрест газетной бумагой, по улицам беспорядочно метались люди с узлами и чемоданами. Все это производило жутковатое впечатление, но сильнее была радость оттого, что я уже дома. К несчастью, брата Евгения я уже не застала – он ушел воевать добровольцем. «Не плачь, мамочка, я же скоро вернусь!» – сказал он, прощаясь с мамой, но не вернулся уже никогда. Мой муж, Сергей , тоже был на окопах под Кингисепом, откуда они бежали в Ленинград пешком. Подходящей для таких походов обуви у нас тогда не имелось, муж был в матерчатых туфлях, которые в дороге почти развалились, ноги были стерты в кровь. Мы с ним решили ездить теперь вместе и вскоре отправились в Обухов, где приказано было сооружать маскировку. Рядом с домом, где нас устроили на ночлег, стояло дальнобойное орудие, покрытое чехлом. Чехол снимали, делали несколько выстрелов и снова быстро натягивали. Спать под такой грохот было невозможно, и мы уехали ночевать домой, рассчитывая утром вернуться. Но на другой день оказалось, что заниматься маскировкой поздно: немцы уже подошли к самому городу.

Часть ленинградских детей организованно вывезли из города еще летом, но не на восток, а на запад, навстречу наступающей немецкой армии! Перепуганные матери бросились разыскивать своих детей. У подруги моей мамы было трое маленьких детей, всех их вывезли в разные места. Она каким-то чудом сумела найти их всех и привезти обратно в город, в город, где их ждала страшная блокадная зима.

В те дни мы очень плохо представляли себе реальное положение дел на фронте. Сводки информбюро в первые месяцы войны были крайне скупы и невнятны. Конечно, было ясно, что наши войска отступают, но четкой и подробной информации гражданское население не имело. Поэтому, когда радио вдруг зловеще возвестило: «Враг у ворот города» – мы растерялись от неожиданности. «Не отдадим город Ленина»?! Господи помилуй, да у нас и в мыслях не было, что Ленинград могут отдать немцам! Пришла пора осознать эту угрозу как вполне реальную. В городе началась эвакуация. Университет переезжал в Саратов, но я не поехала, так как не могла оставить семью. Мама не работала, а муж ожидал со дня на день повестки в военкомат. Его все не призывали, в военном билете значилось: «годен, но не обучен» – видимо, такие пока не требовались. Муж моей старшей сестры Норы , Ян , был уже на фронте. Сама она работала инженером на заводе, и уезжать тоже не захотела. Конечно, мы и представить себе не могли, что нас ждет. Практичные люди запасали продукты, и моя мама , имевшая опыт Гражданской войны, тщетно убеждала нас заняться тем же. Но мы, как «сознательные граждане», не желали поддаваться панике. Как горько мы потом раскаивались в своей «сознательности»…

Однажды горожане почувствовали сильный запах гари, в некоторых районах можно было видеть столбы черного дыма на горизонте – это горели Бадаевские склады, где хранился основной запас продовольствия для Ленинграда. А затем как-то сразу начался голод. Я не помню, сколько продуктов выдавали по карточкам в самом начале, но очень скоро они были сведены к минимуму: 125 граммов хлеба и немного крупы и жиров. На рабочую карточку давали 250 граммов хлеба, но ее у нас получала только сестра. Один раз она получила без карточки несколько килограммов горелых соевых бобов с Бадаевских складов, с каким наслаждением мы их съели! Сергея назначили директором школы, но вскоре занятия в школах пришлось прекратить. Перестал работать водопровод и отопление, не ходил городской транспорт. Туалеты, разумеется, тоже не работали, и нечистоты выливали прямо из окон во двор. Поразительно, как быстро люди перестали этого стесняться.

В нашей коммунальной квартире на Лесном проспекте жила, кроме нас, семья рабочего Кирилла Карповича Палкина: он с женой и трое детей. В их комнате была печурка, а мы переехали на кухню, где, к счастью, сохранилась старая плита, топившаяся углем и дровами. Туда же перетащили мамину кровать, придвинули к ней стулья и спали вповалку: мама, я и Сергей. Сестра устраивалась на остывшей плите. Каменный уголь брали в бездействующей кочегарке, а щепки и бумажки на растопку мама собирала во дворе. Однажды, разбирая свою корзинку, она обнаружила среди щепок обгорелую корку хлеба! Трудно передать наш тогдашний восторг. Незаметно появлялись в нас некоторые странности, которых мы тогда не замечали. Например, все стремились мешать варившийся на плите суп. Мама стоит, помешивает его ложкой, а все смотрят. «Можно я помешаю?» – говорит Нора. – «Пожалуйста». Теперь Нора мешает, а мы с Сергеем смотрим. Он не выдерживает: «Можно я?» – «Возьми». Через пару минут, насладившись, он отдает ложку мне, и мешаю я! «Суп» состоял обычно из двух-трех килек и горсти крупы или нескольких макаронин. Нам он казался необыкновенно вкусным, и каждый раз все искренне удивлялись, почему же раньше такой не варили?

Я пытаюсь понять теперь, почему все мы остались живы, ведь у нас не было никаких привилегий, никаких дополнительных пайков, никаких запасов.

Наверное, это объясняется не просто везением. Во-первых, мы жили семьей и поддерживали друг друга. Во-вторых, мы изо всех сил старались сохранить все привычки культурных людей: несмотря на слабость, регулярно мылись горячей водой, стирали белье, мыли посуду. В-третьих, мы не утратили самообладания и строго распределяли свой жалкий паек. Если килограмм макарон выдавался на десять дней, мы делили их на десять кучек, и никогда не съедали две в день. 125 граммов хлеба разрезали на три части, так, чтобы был «завтрак», «обед» и «ужин». К тому же хлеб подсушивали на плите: сухарики едятся медленнее. Другие люди, я знаю, получив паек, сразу съедали все без остатка, а через день-два умирали.

Людей умирало все больше, и никто уже не вздрагивал в ужасе, наталкиваясь во дворе на труп. Постепенно заполнялась трупами кочегарка, где мы брали уголь. Не помню, чтобы кто-то боялся туда заходить. Я видела однажды машину, доверху нагруженную окоченевшими в разных позах телами (совсем как в пушкинском «Пире во время Чумы»).

Несмотря на то, что по городу можно было передвигаться только пешком, мы все же поддерживали связь с родными и друзьями, от которых то и дело приходили страшные известия. Как-то раз, вернувшись домой, я застала у нас на кухне незнакомую заплаканную женщину. Рядом сидел Сергей с почерневшим от горя лицом: умер его лучший друг Леша Гоерц. Они дружили с детства, оба выросли в городе Пушкине, оба были сыновьями царских офицеров. Отец мужа умер еще до Октябрьской революции, Лешиного отца расстреляли большевики. Хотя в 1917 г. Сереже и Леше было всего по семь лет, в их облике и поведении присутствовали какие-то особенные черты, едва уловимый аромат прежней, разрушенной и оболганной жизни. Когда Леша был сослан на несколько лет в далекий провинциальный городок, Сергей, с немалым риском для себя, ездил его навещать. Позже я узнала, что Сергей приводил друга к нам в школу, чтобы показать свою избранницу. Я училась тогда в восьмом классе. «Девочка – прелесть, – сказал Леша, не смей морочить ей голову!» Перед самой войной Леша женился на одной из тех странных женщин, которые бешено ревнуют мужа не только к другим женщинам, но и к друзьям, и к работе. Особенно она ревновала его к Сергею и делала все, чтобы Леша бывал у нас как можно реже. Мы молча сели за стол, помянуть было нечем, разлили по кружкам кипяток. Каждый отщипнул кусочек от своего ломтика хлеба и пододвинул вдове. Она снова отчаянно зарыдала: «Простите меня, я не знала, что вы такие…»

Другой раз к нам пришла наша родственница, очень близкий нам человек, Нина Акатова . По ее лицу мы сразу поняли, что случилось нечто страшное. Действительно, умер ее муж, Сергей Смирнов . Он был удивительный, чистый и честный до наивности человек. При своих блестящих способностях он не получил диплом об окончании университета, так как искренне не понимал, зачем нужно тратить время на такие нелепые предметы, как история партии и диалектический материализм. Наверное, он стал бы выдающимся ученым, так страстно, фанатично он был увлечен своей биологией. Нина тихо разговаривала с моим мужем, а у меня перед глазами стоял ее Сергей, купающий новорожденную дочку и приговаривающий вздрагивающим от нежности голосом: «Танюшок… Танюшок…»

Нина мучилась еще и оттого, что не смогла похоронить мужа, как положено, и теперь никогда не узнает, где его могила. В то время это была обычная история. Найти людей, которые вырыли бы могилу, можно было только за хлеб или за очень большие деньги. Мертвых из нашего района свозили на Пискаревское кладбище, а хоронили, наверное, уже весной. Наши соседи, с которыми мы очень дружили, умерли почти все. Сначала умер их отец, добрейший «Карпыч», как его все звали. Потом один за другим умерли трое детей, две девочки и мальчик. В живых осталась только мать.

В то же время в блокадном Ленинграде существовали люди, не только не голодавшие, но даже торговавшие продуктами. Нас как-то свели с женщиной, менявшей хлеб на золото. У нас было всего-навсего два золотых обручальных кольца – мамино и покойного отца. Пришла толстая и румяная тетка, посмотрела на эти колечки и отказалась дать за них хоть немного хлеба, сказала, что проба не та…

За своими продуктовыми карточками я должна была ходить в университет. Однако скоро поняла, что ходить пешком с Лесного проспекта на Васильевский остров больше не смогу. К тому же со мной произошли подряд два неприятных случая. Университет стоял почти пустой, однажды я зашла в аудиторию – хоть убей, не помню, что мне там понадобилось, а когда попыталась выйти, обнаружила, что дверь заперта! Я пришла в ужас: пугала и перспектива просидеть здесь, Бог знает, сколько часов без еды и тепла, и мысль о том, что будет с мамой и мужем, если я не вернусь домой. Я стала кричать и отчаянно колотить в дверь, не очень надеясь на успех. Мне невероятно повезло, что один из сторожей зачем-то вернулся на этот этаж, услышал шум и меня освободил. Другой раз на обратном пути я попала под обстрел. Дошла по набережной до Литейного моста, у которого стояли растерянные люди: по мосту шла стрельба. Я совершенно не понимала, откуда и чем стреляют, мысли были только о том, как перебраться на другой берег Невы, чтобы попасть к себе на Выборгскую сторону. Начинало темнеть, и несколько человек, в том числе и я, решили рискнуть. Мы помчались короткими перебежками; то и дело кто-то кричал: «Ложись!», я падала в грязный снег, потом снова бежала, снова падала... Когда я, наконец, оказалась на другом берегу, от страха и от усталости у меня буквально подкашивались ноги, бредя до дому, я вынуждена было несколько раз останавливаться и прислоняться к стене.

Решено было эти опасные путешествия прекратить, и я устроилась работать в дошкольный детский дом, который разместился в подвале законсервированной 123 школы, на Новолитовской улице. Директором его, и очень хорошим директором, была Мария Михайловна Шарая. В городе тогда были организованы специальные отряды девушек, которые разыскивали в вымерших квартирах еще живых детей и приводили или приносили их в детские дома. Вновь поступивших детей мы, прежде всего, стригли наголо, мыли, переодевали в чистую одежду, затем начинали понемножку откармливать. Уже чистенькие детдомовцы гордо говорили новеньким: «Не подходите, от вас наберешься!» Имелось в виду: наберешься вшей. Я там тоже «набралась», пришлось волосы остричь совсем коротко, «под мальчика».

Детдомовская повариха была подозрительно толстой, просто в три обхвата. Между собой мы удивлялись, что ее до сих пор не съели. Сегодня это звучит дико и цинично, но тогда нам так не казалось. По городу постоянно ползли жуткие слухи о случаях людоедства. Очень страшно становилось, когда люди просто пропадали, и их не могли найти. Так пропал младший брат моей школьной подруги. Он был еще не настолько слаб, чтобы не дойти до дому, и обстрелов в тот день в нашем районе не было…

Кормили детдомовцев, по тогдашним представлениям, неплохо. Порции, правда, были совсем маленькие, но продукты «настоящие» – не такие, как по карточкам. К несчастью, многих детей уже нельзя было спасти. Утром мне страшно было входить в подвал, где они спали на топчанах, поставленных впритык друг к другу. В подвале было полутемно, он освещался фитильками, опущенными в керо-

син. Я шла по узкому проходу, вглядываясь в лица детишек, и одни говорили: «Тетя Леля пришла!», а другие лежали неподвижно с открытыми глазами. У ослабевших от голода работников детского дома не было сил хоронить детей, хотя бы в снегу. Умерших относили в туалеты, но скоро они были уже битком набиты телами мертвых детей. Наконец, нашлась одна воспитательница, которая вызвалась за хлеб вывозить на санках детские трупы и разбрасывать их по улицам.

Но все-таки многих удавалось спасти, и это была настоящая радость. Нашей гордостью стал маленький мальчик Паня: его принесли буквально полумертвого, но мы смогли его выходить. Очень трудно было отвлекать детей от разговоров о еде, которые они могли вести до бесконечности. Я собирала их вокруг себя, сажала Паню на колени и начинала рассказывать сказки, петь песенки. Дети старались встать как можно ближе ко мне, и каждый тянул ручку, чтобы хоть кончиком пальца до меня дотронуться. Слушали, кажется внимательно, но стоило мне сделать паузу, как раздавался чей-нибудь голосок: «А мне мама пирожные покупала…» И тут же начинался нескончаемый, однообразный щебет: «А мне мама покупала…, а мне мама готовила…» Порой было еще хуже: дети вдруг начинали не плакать, а тихонько жалобно скулить на одной ноте, не глядя на меня, не глядя друг на друга; и невозможно было остановить этот непрерывный, выматывающий душу звук.

Несмотря ни на что, я по-настоящему увлеклась работой в детском доме и совсем не стремилась уехать из блокадного Ленинграда. В феврале 1942 г. мне исполнилось только 23 года, и смерти я не боялась. Может быть, мои слова не вызовут доверия, но я твердо помню, что несмотря на истощение и слабость я совершенно не собиралась умирать. Однако с некоторых пор я стала всерьез бояться за жизнь мужа.

Мы с ним были прописаны в учительском общежитии в Шувалове – пригороде Ленинграда, по этому адресу ему и должны были принести повестку в военкомат. Раз в несколько дней он ходил в Шувалово, узнать, нет ли повестки. Путь не близкий, даже для здорового и сытого человека. Для дистрофика, каким тогда был Сергей, это путешествие было невероятно тяжелым. Однажды на обратном пути, дойдя уже до 1-го Муринского проспекта, он упал и не смог встать. Обратился за помощью к постовому милиционеру, но тот ответил, что сам едва держится на ногах. Ползком Сережа добрался до деревянного дома, где жили его бывшие ученицы – Валя и Таня Шупен. Они напоили его горячей водой и на санках привезли домой. Без всякого преувеличения, они спасли ему жизнь. Вид у Сережи был страшный: глаза ввалились, он с трудом говорил. В эти минуты я с ужасом поняла, что он может со дня на день умереть.

К счастью, в РОНО (Районном отделе народного образования) тогда работал его друг Михаил Михайлович Петров . С шестого класса он был моим учителем химии и классным руководителем. Мих-Мих, как звали его ребята, был блестящим преподавателем и очень строгим воспитателем. Но со мной, как он всегда шутливо каялся, у него вышла промашка. За учебой он проследил – я кончила школу на одни пятерки; но воспитательную работу провалил – сразу после выпускного вечера я вышла замуж за своего учителя математики! Мих-Мих сумел устроить Сергея, числившегося директором законсервированной школы, в стационар для ответственных работников. Мы с сестрой на санках повезли туда Сережу. В первый раз пришли неудачно: выяснилось, что деревянный стационар сгорел, и теперь дистрофиков принимают в другом месте, в помещении сумасшедшего дома. На другой день отвезли его туда. Аббревиатуру УДП (усиленное дополнительное питание) ленинградцы расшифровывали с мрачным юмором: «Умрешь днем позже». Тем не менее, польза от этого УДП была налицо; не помню, сколько времени муж пробыл в стационаре, но обратно пришел уже самостоятельно. Однако это улучшение могло быть только временным. Нужно было поторопиться с отъездом, пока оставалась возможность проехать по льду через Ладожское озеро. Организовать это было совсем непросто, помог нам все тот же Мих-Мих. Я, полушутя, предложила остаться в городе, чтобы сохранить комнату и вещи. Но Сергей, обычно очень сдержанный, сказал мне почти со слезами: «Если ты не поедешь, я тебя потеряю». Мне и самой, конечно, страшно было расставаться с ним и с мамой.

(Незадолго до нашего отъезда, нас нашла одна знакомая, Алла Рождественская. Она просила взять ее с собой: плакала, жаловалась, что сама не может выехать. Вид у нее был, впрочем, вполне здоровый. Почему-то у нее имелось сразу несколько карточек и много денег, она с аппетитом ела свои продукты, не думая предложить хоть что-нибудь нам. Больше того, она отпускала пренебрежительные замечания по адресу моего мужа. Мол, что это за мужчина, не может чемодан поднять! То, что этот мужчина, в отличие от нее, еле жив от голода, она не понимала или не хотела понимать. Когда я через много лет начинала рассказывать об этом своей дочке, она всякий раз меня останавливала: «Я не могу это слушать, не могу понять, как вы это терпели!». В самом деле, не знаю, как мы терпели. Наверное, голод притупляет чувства. Я не помню, чтобы испытывала тогда такое возмущение, как теперь, когда вспоминаю об этом. В общем, не смогли мы отказать дочери старой маминой подруги, и я об этом не жалею. Она уехала из блокадного города только благодаря нам, но никогда потом об этом не вспомнила).

Наконец настал день отъезда. Нужно было идти пешком до Финляндского вокзала и нести взятые в дорогу вещи, хорошо еще, нашли где-то большие санки. Нас провожал Ананий Абрамович Ширяк, бывший директор школы, где работал муж и училась я. Он сам был очень истощен, но все-таки пришел помочь. При прощании с ним у меня защемило сердце: бывший моряк, прежде статный и сильный мужчина, выглядел изможденным стариком. Больше мы уже не встретились: к несчастью, Ананий Абрамович вскоре умер.

От Ленинграда до Ладожского озера мы ехали трое суток. За это время столько пассажиров нашего поезда умерло, что выбраться из вагона можно было, только шагая по их телам. Добравшись до места, мы увидели, что на берегу озера стоят целые поленницы из тел мертвых ленинградцев. Затем на открытых грузовых машинах нас повезли через Ладожское озеро. Страшно вспомнить этот путь. Был ужасный мороз с сильным ветром, мы совсем заледенели, не могли даже пошевелить губами. Помню, как я в отчаянье твердила про себя: «Сейчас я умру, умру, мы все умрем, это невозможно выдержать!» Казалось, дорога не кончится никогда, но вот мы уже и на другом берегу. Первое, что видим: все те же поленницы трупов… Чувства избавления не было, напротив, было очень страшно. В людях, которые встречали нас, было что-то странное, я не могла понять, что именно, пока Сергей, тоже диковато озиравшийся вокруг, не шепнул мне: «Они … улыбаются…» После переправы ленинградцев собрали в помещении бывшей церкви. Напоили всех кипятком, кажется, с хлебом, не помню. На каменном полу был разложен костер, мы кое-как отогрелись – и снова в путь, нас уже ждал эшелон.

Ехали мы в товарных вагонах, оборудованных нарами и железной печкой. На ней пассажиры подсушивали хлеб и здесь же жгли вшей. Согреть вагон эта печурка, конечно, не могла, было так холодно, что волосы примерзали к изголовью. По дороге

люди продолжали умирать, другие заболевали, и их снимали с поезда. Слегла с высокой температурой моя мама, мы это скрывали, так как боялись, что нас разлучат. Я сидела рядом и молила: «Мамочка, не стони! Пожалуйста, не стони!» Слава Богу, ей скоро стало лучше. Сначала мы собирались ехать в Татарию, где у нас были знакомые, но туда нам пришлось бы добираться самостоятельно. Наш же эшелон шел на Северный Кавказ. Мы даже обрадовались: там тепло, фрукты! Откуда нам было знать, что немцы готовят наступление именно в этом направлении… Поезд тащился еле-еле, паек выдавали на станциях, днем или среди ночи – как придется. Но нужно отдать должное, кормили вполне прилично. К прибытию эшелона всегда готовили горячую пищу, я, как самая молодая, бегала за ней с кастрюлями. Наконец мы приехали в конечный пункт – станцию Малороссийская. Измученных ленинградцев уже ждали подводы, на которых они отправились дальше, кто куда…

Наша семья попала в маленький кубанский колхоз «Красный партизан», бывшую коммуну. Там 7 апреля 1942 г. закончилось наше долгое путешествие, и началась жизнь на новом месте. Первые впечатления были самые удручающие. Вместо чистеньких белых хаток, которые грезились нам в дороге, мы увидели ряд общежитий, местные жители называли их «обчие». Эти убогие строения, с крышами из тростника, мало походили на человеческое жилье. Цветущих садов не было и в помине, деревьев-то почти не было, только степь и заросли камыша. Туалетов, даже самых примитивных, не существовало, для естественных надобностей местные жители бегали в камыши. В общежитии нам выделили две комнатушки, где мы кое-как разместились. В первый вечер все мы, признаться, сильно приуныли. Но настало утро, выглянуло солнце, из степи повеяло теплым южным ветром, и так захотелось жить! Вымыли комнатенки, разложили вещи, познакомились с односельчанами, и незаметно втянулись в непривычную и незнакомую жизнь.

Председатель колхоза по фамилии Кулабух – огромный мужик с тяжелыми кулачищами угрюмо выслушивал просьбы эвакуированных и однообразно отвечал: «Что мне, душиться теперь через вас?» Однако человек он был добрый и делал все, что мог. Первые десять дней нас кормили бесплатно. Боже, какая это была еда! Густое молоко, пышный пшеничный хлеб, свежие яйца! Вокруг были здоровые и веселые люди, по вечерам они выходили на крыльцо, громко разговаривали и …пели! Вначале нас это просто поражало. Мы замирали и неуверенно спрашивали друг у друга: «Они поют?» Кстати, мы сразу же приобрели, неизвестно зачем, два мешка кукурузы и спрятали под кровати. Но голодный психоз быстро прошел, мы снова сделались нормальными людьми, тоже стали петь и улыбаться. Да что там улыбаться, мы хохотали до слез, когда сильно растолстевшие Нора и Сергей примеряли свои старые вещи. Потом они вошли в норму, а мы с мамой и не толстели, только набрали свой прежний вес. Немного окрепнув, мы пошли на работу в колхоз. Нора, экономист по образованию, устроилась на почетную должность весовщика. Сергей стал объездчиком; из-за Октябрьской революции его дворянское детство кончилось рано, верховой езде обучить не успели, и, чтобы забраться на лошадь, он подводил ее к крыльцу. (В казачьей станице, где мальчика по традиции сажают на коня в три года, это зрелище вызывало живой интерес). Я же стала работать в поле, «в степу», как говорили местные. Первым делом меня поставили на прополку посевов пшеницы. Пололи при помощи так называемых «истиков» – палок с ножичками на конце. Я подружилась с восемнадцатилетней Женей Абрамовой (дома ее звали Жешкой), тоже эвакуированной из Ленинграда с мамой и младшей сестрой. Обычно мы с ней работали вместе. Колхозницы все время ругали почем зря эвакуированных ленинградцев («экуированных») за то, что они не хотят работать. Возможно, эти люди и не могли работать, еще не придя в себя после страшного голода, но над этим никто не задумывался. К нам с Жешкой бабы относились очень хорошо и, когда костерили «экуированных», всегда прибавляли: «Девки, не забижайтесь! Мы не за вас говорим! Вы завсегда с нами». Работа была тяжелая, как мы ни старались не отставать от колхозниц, ничего у нас не получалось. Они, ловко обработав длинный ряд, садились отдохнуть и перекусить, мы же успевали подойти только к концу их завтрака и должны были, не передохнув, бежать обратно. В первый же день мы стерли ладони до кровавых пузырей, потом только догадались обматывать руки тряпками. Бабы работали в длинных юбках и закрытых кофтах, лица густо намазывали какой-то неведомой нам смесью («мазилом»), предохраняющей от загара: у местных красавиц ценилась белая кожа. А мы с Жешкой пололи в одних трусиках и лифчиках. Сначала бабы неодобрительно на нас косились, но потом привыкли. Солнце пекло нещадно, но я в те годы совсем его не боялась, даже голову не прикрывала. Мои волосы, подстриженные «под мальчика», сильно выгорели, а тело стало почти коричневым. Странно сказать, но мне кажется, что никогда я не выглядела так хорошо и не чувствовала себя такой здоровой и сильной, как в то трудное время.

Вода в тех местах такая жесткая, что мыть ею голову невозможно, для этой цели использовалась молочная сыворотка. Дождевая вода ценилась на вес золота – дожди на Кубани редкость. Местные жители имели своеобразное представление о личной гигиене. Вечерами, отдыхая на завалинках, они по очереди клали голову друг другу на колени и, напевая, искали вшей. Такая процедура, помимо прямой пользы, расценивалась как ласка. Наша семья в этом отношении вызывала искреннее недоумение: живем вроде дружно, а не ищем? Мы пытались объяснить, что стараемся, мол, соблюдать чистоту, и поэтому вшей у нас нет. Но бабы только недоверчиво качали головами: «Не бреши!» Они были уверены, что вши – непременная принадлежность человеческого организма.

Хотя мы и получали продукты, положенные за трудодни, еды не хватало, ведь своего хозяйства у нас не было. Неожиданно нашелся способ подработать. Казачки почему-то совсем не умели рукодельничать, а купить что-нибудь из одежды было негде. Мама стала шить кофточки, а я вышивала их крестиком. Наши простенькие изделия пользовались невероятным успехом, платили продуктами: салом, яйцами, сметаной, фруктами. Мы цены не назначали, каждый давал, сколько мог, но давали щедро, от души. Вообще, мы быстро стали на новом месте своими, в основном, благодаря моей маме. В маминой душе таился неиссякаемый источник искренней, непосредственной, не рассуждающей доброты, теплыми волнами изливавшейся на все вокруг. Люди сразу потянулись к ней за советом, сочувствием, поддержкой. Суровые казачки сентиментальных речей вести не умели, но всегда старались чем-нибудь угостить. То и дело у нас во дворе раздавался детский голос: «Бабушка ленинградская! Вот, мамка тебе прислала…» Присылали роскошные южные помидоры, дыни и абрикосы, каких мы в Ленинграде и в мирное время не пробовали.

Мы столкнулись с тем, что станичники равнодушно и даже жестоко относились к животным. Домашний скот ценили с утилитарной точки зрения, а кошек и собак вообще не замечали. Наша семья немедленно начала их подкармливать и приголубливать. Видимо, среди собачьего народа быстро распространился слух о необычных двуногих, и, не успели мы оглянуться, как вокруг нас собралась

целая стая. Одни собаки были полудикие, другие – явно домашние, потерявшие хозяев. Кого только среди них не было! Интеллигентный, деликатный шпиц Джек – его приходилось кормить отдельно, так как он не мог толкаться у общей миски. Веселая, черная как смоль, Арапка, бедняга Урод. Урод, действительно, был на редкость некрасив и неуклюж, и от мальчишек ему доставалось вдвойне. Я очень его жалела и ласкала, и он привязался ко мне всей своей собачьей душой. Когда я ходила по делам, он всегда увязывался со мной. Мальчишки нещадно дразнили его, закидывали камнями (мои увещевания на них, конечно, не действовали). Урод спрячется где-нибудь, переждет нападение, и вот уже снова бежит рядом со мной на коротких кривых лапах, преданно заглядывая в глаза. «Мама Крикса» получила свое прозвище после одного забавного случая. Рано утром мы проснулись от странного звука: «Крикс-с... Крикс-с…» На пороге сидела небольшая симпатичная собака и держала в зубах новорожденного слепого щенка. Я взяла щенка на руки, собака помахала хвостом и убежала. Через несколько минут раздался тот же необычный звук: она принесла второго, а затем и третьего отпрыска. Мы были тронуты оказанным доверием и стали выхаживать новорожденных. Но Мама Крикса, пристроив детей в хорошие руки, сама о них не забыла. Когда удавалось что-нибудь украсть, она всегда притаскивала им гостинец. Собака умудрялась, например, ловко приносить в зубах куриное яйцо. Осторожно клала его на землю и тоненько скулила, подзывая малышей. Затем раскусывала яйцо и с умилением смотрела, как те едят. У нее был настоящий роман с вожаком нашей стаи – кавказской овчаркой Серко. Собаки ходили всегда вместе, вылизывали друг друга, ласкались. Могучий Серко защищал подругу во всех стычках. Но от людей защищать приходилось и его самого: как-то раз мальчишки придумали его повесить на дереве, уже почти затянули петлю. Сергей увидел это из окна и, схватив нож, бросился на помощь нашему другу. К счастью, он успел вовремя перерезать веревку; не забуду, как спасенный Серко смотрел на него тогда…

Не успели мы обжиться и успокоиться, как поползли тревожные слухи: наши отступают, оставляя Кубань немцам. Сергей съездил на железнодорожную станцию и вернулся мрачным и подавленным. По дороге непрерывным потоком шли эшелоны с войсками; военные не скрывали, что немцы совсем близко. Но больше всего мой муж был потрясен такой картиной: на открытых платформах, притулившись рядом с орудиями, ехали еврейские семьи… Никто не подумал организовать их эвакуацию, каждый спасался, как мог. Для нашей семьи это был знак новой и страшной беды.

Дело в том, что моя мама была эстонкой, а отец евреем. На Урале, где родители жили до революции, это обстоятельство никого не интересовало. Папа работал аптекарем при земской больнице и пользовался общей любовью и уважением. Из-за процентной нормы он не смог, как мечтал, стать врачом, но очень увлекся своей специальностью. Он выписывал фармацевтические журналы, сам удачно составлял микстуры и мази, простые люди упорно величали его «дохтуром». Мама любила вспоминать, как однажды на базаре какая-то крестьянка, увидев нашего отца, ахнула и завопила, подталкивая сына, мальчика лет десяти: «Падай в ноги дохтуру, падай в ноги, он тебя спас!» Парнишка послушно повалился на колени. «Помилуйте, что вы, не нужно…» – бормотал смущенный папа, но баба не унималась: «Руку целуй! Целуй руку, говорю!» Папа прятал руки за спиной, краснел и смеялся. По-доброму смеялись и невольные зрители этого представления: отца все знали.

Я росла уже в Тихвине, не помню, сколько мне было лет, когда я узнала, что моего доброго, умного, самого лучшего на свете папу кто-то называет мерзким словом «жид». Захлестнувшее меня тогда чувство боли, возмущения, отчаянья осталось со мной навсегда. Когда мой старший брат получал паспорт, папы уже не было в живых. Евгений решительно заявил, что национальности любимого отца не стесняется, и записался евреем. Через несколько лет я поступила так же. В результате, в нашей семье я оказалась единственной, у кого в паспорте значилась эта роковая национальность. (Мама и Нора – эстонки, Сергей – русский).

Что же делать? Бежать вслед за нашими? Но куда, как? К тому же было ясно, что маме такая дорога не по силам, а оставить ее одну я решительно отказалась. На семейном совете мы постановили сжечь мой паспорт и остаться на месте. Конечно, это было рискованно, ведь по приезде мы все сдавали паспорта в правление колхоза, и моя национальность ни для кого секретом не являлась.

Вскоре отступающие части потянулись по узенькому шоссе, мимо нашего села. Лица у бойцов были угрюмые, казалось, они стараются не смотреть на баб и ребятишек, молча стоявших по обочинам дороги. Дня три шоссе оставалось совершенно пустым, потом вдруг затарахтели моторы и показались немецкие мотоциклисты. Началась оккупация…

Местное население ожидало немцев без всякого страха, а напротив, с большим интересом. Чтобы понять настроение кубанцев, нужно хорошо представлять себе, как им жилось. Мы сами до войны жили очень бедно, но то, что мы увидели здесь, нас потрясло. Это была даже не бедность, а ужасающая, безнадежная нищета. Питались люди только за счет маленького собственного хозяйства. Что касается одежды, лекарств, мыла, посуды, самой простой домашней утвари, то всего этого просто не было, и купить было не на что. Между тем, до революции в этих местах цвели богатые казачьи станицы, в людях еще жила память о прежней жизни. По адресу советской власти и созданных ею колхозов станичники высказывались совершенно определенно, со всем, так сказать, богатством русского нецензурного языка. Казаки надеялись, что немцы ликвидируют проклятые колхозы, отдадут людям землю, разрешат держать скот. Однако надежды их не оправдались, благополучие местного населения немцев не заботило ничуть. Разочарование пришло после первого же «схода» – общего собрания, организованного оккупационными властями. Немецкий оратор долго и скучно говорил про «новый порядок» и дисциплину, но о земле и колхозах не обмолвился и словом. Зато много грозных слов было сказано о том, чего и сколько кубанцы обязаны поставлять немецкой армии. К тому же в поведении немцев сквозило неприкрытое высокомерие, гордые казаки сразу же это почувствовали и ощетинились.

Нам повезло: в нашем маленьком колхозе никакого постоянного органа оккупационной власти не было. Единственным начальством стал назначенный немцами староста. Произошло это так: немцы согнали всех мужиков (только мужиков, что вызвало бурное возмущение у баб) на очередной сход и предложили выдвинуть кандидатуры на пост старосты. Из толпы выкрикнули три фамилии. Немцы поставили этих трех мужиков в ряд, а остальным велели выстраиваться в затылок своему избраннику. Старостой был назначен тот, за кем выстроился самый длинный хвост. Двое других стали полицаями. Таким образом, далеко не всегда эти должности занимали предатели. Наш староста по отношению к односельчанам вел себя очень достойно. Когда после прихода наших его арестовали, Сергей написал в «органы» письмо в его защиту, которое подписали все колхозники. Боюсь, что ему это не помогло, в родную станицу он так и не вернулся…

Именно староста однажды поздно вечером принес к нам в дом нехорошее известие. «Из наших

никто не выдаст, – твердо сказал он. Но одна ваша эвакуированная языком треплет, грозится донести, что укрываем еврейку». Пока мы думали, что предпринять, казачки решили вопрос по-своему. Вечерком они вызвали эту тетку к колодцу – традиционному месту сбора женской части населения, и объявили без околичностей: «Если только словечко сбрехнешь, стерва, мы тебя на этом вот месте возьмем за руки и за ноги, да и раздерем пополам!» Не знаю, исполнили бы они свою угрозу, но она подействовала; тетка струхнула и с тех пор держала язык за зубами. (Когда немцы ушли, она прибежала к маме и молча встала перед ней на колени. «Что тебе за радость была бы, если б мою дочку расстреляли?» – грустно спросила мама).

Как-то раз наш колхозик неожиданно почтил вниманием один эсесовец, видимо, крупный чин. Всех согнали на площадь перед сельсоветом, а он, стоя на грузовике, бахвалился, что еврейский вопрос на юге России решен окончательно. «Покажите мне хоть одного жида на всей Кубани, – надрывался он, – да я его сейчас, своими руками из этого вот револьвера!..» Понимаю, что это прозвучит неправдоподобно, но в тот момент мне почему-то совсем не было страшно, я чувствовала даже некоторое злорадство: «Да вот она, я, у тебя перед носом!» Кто действительно помертвел от ужаса, так это мой муж, стоявший рядом со спокойным лицом. Ничего не стоило указать на меня пальцем в толпе, однако эсесовец взывал напрасно, люди меня не выдали.

В селе неведомо откуда появился странный человек по имени Алыш – высокий красавец, как потом узнали, азербайджанец. Поначалу он ходил с таинственным видом, в разговоры не вступал, иногда залезал на стог и долго размахивал руками, как будто подавая кому-то сигналы. Позже выяснилось, что он вовсе не разведчик, как решили было колхозники, а обыкновенный дезертир. Алыш прижился и стал изо всех сил ухаживать за моей подругой Жешкой. Время от времени он спрашивал моего мужа: «Сыргэй, как ты думаешь, наши придут, они мэня застрэляют?» «Конечно, расстреляют, – уверенно отвечал Сережа, – ты же дезертир!» Алыш неизменно разражался оглушительным хохотом, сверкая ослепительно белыми зубами: «Нэ! Нэ застрэляют!» (Его действительно не расстреляли, более того, к возвращению наших он достал откуда-то форму и погоны и превратился в офицера Советской армии).

Еще до прихода немцев у нас поселились эвакуированные из Молдавии, один русский, Виктор Романов, другой румын, Саша Мындру. Судя по тому, что Виктор оставил дома жену, которая должна была вот-вот родить, а Саша прибыл босиком и в одних кальсонах, эвакуировались они не по своей воле. Подробностей они не рассказывали, а мы и не расспрашивали. Постепенно выяснилось, что до войны Саша Мындру жил в той части Бессарабии, что отошла к СССР лишь в 1939 г. Саша оказался коллегой моего мужа – учителем гимназии. Мы в изумлении слушали его рассказы о прежней жизни, на наш взгляд, неправдоподобно роскошной. Особенно сильное впечатление на нас произвело то, что у него было пятнадцать костюмов и еще больше пар обуви. У моего Сергея до войны был один костюм, если его можно так назвать (пиджак и брюки были из разных комплектов), и одна пара туфель, в которые он вкладывал куски картона – подметки протекали. Сашу в нашей жизни тоже многое поражало. «У нас турма, это… – он мимикой и жестами выражал крайний ужас. – А у вас только и слышишь: Когда мой папа сел в турму, когда моя мама вышел из турмы, когда мой брат сидел в турме… Почему всегда турма?!» Мы невесело посмеивались и от объяснений уклонялись. Саша был очень симпатичный человек – мягкий, деликатный, приветливый. Меня он называл Ленуцей, а моего мужа – Серджу. Он приятно пел и прекрасно танцевал. Они с Норой умудрялись босиком, под собственный аккомпанемент, танцевать на глиняном полу фокстроты и танго. Когда вернулись наши, он исчез, больше мы о нем не слышали…

Как-то раз, когда я работала в поле, ко мне прибежала соседка с тревожной вестью: «Домой не возвращайся, у вас немцы!» Я весь вечер просидела в камышах; женщины приносили мне еду и давали полезные советы: «Лелька! Ты баба красивая, так рожу-то грязью вымажи, да сопли распусти, чтобы немцу не глянуться!» Немцы скоро ушли, и я помчалась домой, довольная, что не пришлось мазать рожу грязью. Дома я застала, как ни странно, веселое оживление. Выяснилось, что это были не «настоящие немцы», а румыны, мобилизованные в немецкую армию. Они, хотя и задавали ритуальные вопросы о жидах и коммунистах, интересовались исключительно ценными вещами. Обручальные кольца мама спрятала за спиной, а соседка потихоньку взяла их из ее рук и вынесла из дома, так они уцелели. Других ценностей у нас не было. Румын требовал хотя бы «часа», и с досадой отмахивался, когда Нора с невинным видом совала ему будильник. Они все-таки унесли старые дедушкины часы и … мой купальный костюм! Я ужасно рассердилась.

Немцы бывали в нашем колхозе крайне редко, но одно из таких посещений обернулось для нас горем. Удивительно, но наш Серко люто ненавидел немцев, хотя никто его к этому не приучал. Мы всегда старались его запереть в доме, а один раз не успели. Увидев на нашей улице немецкого солдата, пес зарычал и бросился… Солдат застрелил его на месте. Мы похоронили Серко в степи, а Мама Крикса долго потом приходила на его могилу и надрывно выла.

Оккупация продлилась шесть месяцев. Последнее, что еще раз заставило нас поволноваться – повестка на мое имя с приказом явиться в фельдкомендатуру. Видимо, меня, в числе других молодых женщин, предполагали отправить на работу в Германию. К счастью, повестка пришла, когда было уже очевидно, что немцы отступают, и мы ее проигнорировали. Снова по шоссе потянулись войска, но теперь это были отступающие немецкие части. Немцы иногда заглядывали к местным жителям, чтобы поесть и отогреться. К нам только раз забрели два солдата, на вид им было лет восемнадцать -девятнадцать. Тощие, простуженные, измученные, они держались очень скромно, даже робко. Один из них все гладил красной, обветренной рукой нашу кошку и жалостно приговаривал: «Katzchen… Katzchen…» Они явно обрадовались, когда я заговорила с ними по-немецки, и охотно рассказывали о своих семьях. О политике мы, разумеется, не говорили, но они оставили мне несколько немецких газет, которые мы потом с жадностью прочли. Мы накормили мальчишек и мирно простились, никакой ненависти к ним не испытывая.

Потом всякое движение по шоссе прекратилось, мы волновались, не зная, что происходит. И вот, наконец, появились наши! Это мало напоминало победоносное шествие: кто шел пешком, кто ехал на телегах, запряженных тощими клячами. Особенно живописно выглядел один боец верхом на верблюде. И все они озабоченно спрашивали: «Где немцы?» «Утекли!» – радостно отвечали станичники. Нашему ликованию тогда не было предела. Мы еще не знали, что каждый получил на всю жизнь клеймо – «лицо, проживавшее на оккупированной территории», означавшее поражение в правах.

Через несколько дней Сергея призвали в армию. Перенесенный голод давал себя знать, и медицинская комиссия признала его нестроевым, но дело для него нашлось. Когда выстроили всех новобранцев, командир скомандовал: «У кого начальное образование – шаг вперед!» Оказалось, что таких больше половины. «У кого среднее образование – шаг впе-

ред!» Вперед шагнули только несколько человек. «У кого высшее образование – шаг вперед!» Шаг сделал один мой Сергей. «Будешь писарем!» – распорядился командир. Так Сергей стал старшим писарем при штабе сборно-пересыльного пункта.

Наша армия собиралась двигаться дальше, в каком направлении, нам, естественно, не сообщали. Не давали покоя упорные слухи, что на Кубань снова могут вернуться немцы. Вконец перепуганные, оставшиеся без мужчины в доме, мы с мамой и сестрой решили уехать из этих опасных мест. Но уехать, не попрощавшись с Сережей, я не могла.

Я знала, что их пересыльный пункт находится в станице Брюховецкой, расположенной за сто с лишним километров от нашего колхоза. Железная дорога не работала, достать лошадь, а тем более машину, было совершенно невозможно. Нужно было идти пешком, но это меня не остановило. С рюкзачком, в котором было только несколько кусков хлеба, я пустилась в путь. В начале у меня была попутчица, но она мне только мешала. Я очень боялась, что уже не застану мужа, и шла так быстро, что она все время отставала и жаловалась. Поздно вечером попросились на ночлег, нас пустили, но ничего, кроме глиняного пола, предложить не могли. Спать, правда, было все равно невозможно из-за огромного количества блох. С первыми лучами солнца я отправилась дальше. Наконец, я пришла в Брюховецкую, нашла штаб и попросила вызвать старшего писаря, заранее предвкушая удивление и радость мужа. Но вышел не Сергей, а начальник штаба, Семен Викторович Минин. Он уставился на меня с удивлением и недоверчиво сказал: «Это жена Муравьева? Такая девочка?» (Муж был старше меня на девять лет и выглядел значительно солиднее). «Да, я жена! А где Сергей?» Минин помолчал и сочувственно сказал: «Он вчера ушел к Вам, проститься…» Я растерялась и едва не расплакалась… «Не расстраивайтесь, – утешил меня Минин, – Сергей знал, что Вы можете придти, и просил меня Вас задержать. Он узнает дома, что Вы здесь, и сразу вернется». Я осталась ждать.

Минин заботился обо мне, как мог: велел истопить баню, отдал в починку мои вконец развалившиеся в дороге ботинки, каждый день приглашал к себе на обед. Он на все лады расхваливал моего мужа, хотя в один прекрасный день заявил: «Муравьев – замечательный человек! Но, знаешь? Уходи от него ко мне…» Между тем, я все больше нервничала – прошел день, другой, третий, а Сережа все не возвращался. Когда мне сказали, что меня разыскивает парнишка из нашего колхоза, сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Действительно, мальчик принес мне записку с печальным известием: мой муж заболел сыпным тифом, и его увезли в изолятор в станице Алексеевской. Не теряя ни минуты, я бросилась в обратный путь.

Минин дал мне с собой продуктов и много всяких полезных в дороге мелочей, а главное, посадил на машину, которая шла в нужном направлении. К сожалению, через тридцать километров машина должна была свернуть, и дальше я опять пошла быстрым шагом, подгоняемая тревогой. Ночевать на этот раз мне пришлось в степи, но на следующий день я была уже дома. Утром я надела на стертые в кровь ноги какие-то тряпичные туфли и отправилась в Алексеевскую. В сыпнотифозный изолятор никого не пускали, но старенький фельдшер, выслушав мою историю, сжалился и разрешил мне войти. Сережа, увидев меня, произнес хриплым голосом: «Пришла все-таки…» и потерял сознание.

Он пролежал в бреду три недели, и все, кроме меня, считали, что ему не выжить. Изолятор – не госпиталь, лечения не было никакого, больных даже не кормили. Мне удалось выменять на какую-то одежду камфару, и мужу стали делать уколы. Сначала я уходила домой ночевать, но он так смотрел мне вслед, что я стала спать на полу, расстелив около его койки свое пальтишко. Нора приносила нам еду, я насильно вливала ему в рот сливки и сырые яйца. Потом научилась так ловко менять простыни, что меня считали опытной санитаркой. Когда жар спал, и муж первый раз посмотрел на меня осмысленным, живым взглядом, я боялась поверить этому счастью. «Ты меня узнаешь? Скажи, кто я? Кто я?» – просила я. Он улыбнулся и тихо сказал: «Глупышка…»

Кстати, Сергей, совершенно не склонный к мистике, рассказывал потом, что, когда лежал в бреду, не раз видел: рядом с ним на постели лежит незнакомый, страшный, заросший щетиной человек. Впервые после болезни посмотревшись в зеркало, он узнал этого незнакомца… Выглядел он, действительно, ужасно, но быстро выздоравливал, и скоро я повезла его домой. В колхозе каждая лошадь была на счету, и нам смогли выделили только пару коров, запряженных в молоковозку. Сережа сидел, бессильно прислонившись к молочному бидону, а я сражалась с коровами. Бедные животные, не приспособленные ходить в упряжке, упрямо сворачивали с дороги, приходилось непрерывно соскакивать и направлять их в нужную сторону. Так мы и дотащились до нашего колхоза. Дома муж окончательно поправился, и я уже поддразнивала его рассказами об ухаживаниях Минина. Сережа возмущенно фыркал: «Ишь, старая образина!» Я же защищала поклонника, который на самом деле ничуть не походил на старую образину.

Скоро Сергей окреп достаточно, чтобы вернуться в часть. На этот раз нам дали старую полуслепую лошадь и повозку («бидарку»). Лошадь решительно не захотела куда-то там нас везти. Только мы выехали за околицу, как она повернула и бодро побежала к дому. Договориться с ней так и не удалось, и на другой день мы пошли на шоссе «голосовать». Ехать нужно было довольно далеко, до Армавира. Я немного проводила Сергея, затем он поехал на попутке дальше, а я вернулась домой. Я стала часто получать письма – треугольные конвертики без марки; он все еще служил на пересыльном пункте, но что будет дальше, никто не знал. И тут вдруг выходит распоряжение о демобилизации нестроевых учителей! Я страшно обрадовалась и стала думать, как отвезти Сергею диплом об окончании педагогического института. Ездить тогда было непросто: билетов не продавали без наличия соответствующих документов. Я решила ехать «зайцем»; рано утром отправилась пешком за шесть километров на станцию Малороссийская, откуда шли поезда в нужном направлении. Там я с независимым видом прогуливалась по перрону, а когда поезд тронулся, быстро вскочила на подножку. В вагоне ехали симпатичные красноармейцы, узнав, зачем я еду, они пообещали, что не позволят контролеру меня высадить. Контролер, впрочем, и не собирался этого делать, пришлось только заплатить штраф, но у меня были приготовлены деньги на этот случай. Вернулась я на попутной машине, очень довольная, но дома меня ждали новые неприятные известия.

Привез их Минин; по его сведениям, в армию начали призывать женщин, и я могла со дня на день получить повестку. Минин примчался сказать, чтобы я просилась непременно к нему. «Ты не понимаешь, тебе в армию нельзя» – твердил он с крайне озабоченным видом. Только много позднее я поняла, чего он боялся. Увы, женщине в армии было необходимо иметь сильного покровителя. (Бедный Минин несколько месяцев спустя погиб, бессмысленно и нелепо: во время пьяной ссоры его застрелил сослуживец). Меня так и не призвали, а вскоре вернулся и Сергей.

Мы переехали в станицу Алексеевскую, где была школа, девятилетка. (Наша «стая», естественно,

перебралась на новое место вслед за нами. Вечером мы недосчитались только Нориной любимицы Арапки. На другой день Нора побежала обратно в «Красный партизан», где посреди нашей опустевшей комнаты сидела несчастная Арапка и жалобно скулила. Увидев Нору, она просто ошалела от радости).

Сергея назначили директором школы, а я стала преподавать географию (учитель биологии там был). Мой университетский преподаватель, Георгий Александрович, исхитрился прислать мне большую физическую карту, кое-какие пособия в школе были, и я с увлечением принялась за дело. Сергей же просто ожил, получив возможность снова заняться любимой работой. Учителя приняли нас очень хорошо, никаких проблем с дисциплиной тоже не возникло, ребята были подготовлены неважно, но учились охотно.

На Кубани детей вообще очень любили, хотя совершенно не умели о них заботиться. Я поняла, кстати, чего стоят эти легенды, что в деревне, мол, над детьми не трясутся, а они вырастают здоровыми. Те, что выживают, действительно, здоровые… Только вот в семьях наших односельчан из восьмидесяти детей обычно оставалось в лучшем случае двое. Моя мама со своей эстонской аккуратностью и чистоплотностью приходила в ужас, видя, как новорожденного младенца заворачивают в старый, засаленный пиджак, как маленьких детей поят сырой водой из медной позеленевшей кружки, как при тяжелом поносе их кормят помидорами и салом. О том, чтобы мыть руки перед едой, никто и не слышал. Особенно страшно это было летом, когда ребятишек косила дизентерия. Удивительно не то, что дети умирали один за другим, удивительно, что кто-то еще выживал. Одежда для детей считалась роскошью, хорошо, климат в тех местах благодатный. Помню, трехлетний Толик, хорошенький как херувим, все лето пробегал абсолютно голеньким. К осени попка у него задубела так же, как пятки. У нашей соседки из десяти (!) детей осталась в живых одна семилетняя Раечка, зеленоглазая и крепенькая, как молодой огурчик. Мать души в ней не чаяла, но воспитывала, согласно местным обычаям. В пять утра раздавался ее повелительный глас:

«Райка! Вставай, подлюка, поросенку травы нарежь!»

– «Ты поросенка держишь для Райки или Райку для поросенка?! – возмущалась моя мама. – Дай поспать ребенку!» – «Небось, подлюка, в полдень отоспится» – невозмутимо отвечала та, любовно глядя на дочку.

Учителя в станице вообще пользовались большим уважением, а Сергей, как директор школы, приобрел особый авторитет. В особенности пригодилось его умение ясно и просто рассказывать о том, что происходит в мире. Интерес к военным и политическим событиям у мужиков был большой, но по малограмотности разбирались они в них с трудом. Иногда из района приезжал лектор, но он не столько информировал, сколько давал «политическую оценку», и вообще излагал все крайне бестолково.

«Балаболка – досадовали мужики. – Лопочет, лопочет, а об чем – не понять». В результате политические дискуссии станичников выглядели порой весьма комично. «Австрияка сообщала, – таинственным шепотом говорил один, – что Сальские степи японцу отойдут!» «Дела…» – сокрушенно вздыхали другие.

Сергей, охотно принимавший участие в вечерних собраниях мужиков (в станице это называлось: «мужики кучкуются»), стал пересказывать им то, что удалось ему узнать из газет и радиопередач. Мужики полюбили его слушать, и прониклись к нему большим почтением. «Сергей Михайлович – умственный мужчина!» – уважительно говорили они. Мы убедились, между прочим, что станичники умели ценить в людях, казалось бы, чуждые им самим качества. Однажды, когда мужики в присутствии нашей семьи стали прохаживаться по адресу «москалей», Сергей заметил: «Но ведь мы, по-вашему, тоже москали…». «Нет, вы – интеллигенция» – твердо ответили они.

В один прекрасный день Сергей загорелся идеей силами учителей поставить спектакль. Уговаривать никого не пришлось, всем эта затея пришлась по душе. Нашли какую-то современную пьесу о войне, ни названия, ни автора ее я не помню. Насколько я сейчас понимаю, правды жизни там не было никакой, пьеса была написана в духе военных комедий, типа «Небесного тихохода». Возможно, впрочем, именно такие произведения и были нужны тогда настрадавшимся людям. С огромным увлечением мы репетировали, шили костюмы, сделали даже какие-то декорации. И вот настал день премьеры! Зал едва вместил всех зрителей – наших учеников, их родителей, соседей. Наверное, в лучших театрах у самых знаменитых актеров не было такой благодарной публики. Сидели, не дыша, смеялись каждой шутке, хлопали, не жалея ладоней. В совершеннейшем восторге были ребята, увидевшие своих учителей на сцене. У меня была роль заики-телефонистки; мои реплики неизменно встречал дружный хохот, я была счастлива. Слава о нашем спектакле разнеслась по всей округе, и нас начали приглашать «на гастроли» в соседние станицы. Мы торжественно выезжали на нескольких подводах, а вокруг, как почетный эскорт, весело перекликаясь, скакали верхом мальчишки. Постепенно образовался и круг поклонников, не ленившихся посещать буквально каждый спектакль.

С нашей работой в школе связан лишь один неприятный эпизод. Из района нам прислали пионервожатую, никто толком не знал, кто она и откуда. Девушка несколько назойливо проявляла симпатию к нашей семье, но не отталкивать же было человека! Жила она в соседней станице, и нередко просила разрешения у нас переночевать. Нужно сказать, что все более или менее ценные наши вещи хранились в одном маленьком чемоданчике, стоявшем всегда в одном и том же месте. Воров в станице не водилось, нам и в голову не приходило его прятать. Однажды пионервожатая в очередной раз осталась у нас ночевать. Слышим, она все время выходит во двор и опять входит и ложится. «Что с тобой?» – спросила мама. – «Ой, что-то живот разболелся» – отвечала та. Уже стало рассветать, когда она вышла снова и очень долго не возвращалась. Нора догадалась посмотреть, на месте ли чемоданчик, выяснилось, что его нет… Сергей бросился к председателю колхоза, тот сориентировался мгновенно: разбудил мальчишек, посадил на лошадей и велел скакать по всем дорогам и тропам, которые вели на станцию. Беглянку задержали буквально за несколько минут до отхода поезда и с триумфом доставили в станицу. Нам вручили наши вещи, а ее сдали в милицию.

Относительно благополучная жизнь в станице Алексеевской была омрачена новой бедой – малярией, типичной для тех мест болезнью. Заболели все: мама, Нора, Сергей и я. Хорошо еще, что страшные приступы с температурой до 40 градусов накатывали не на всех сразу, а по очереди. И надо же было случиться, что именно в это время я поняла, что беременна. Конечно, было безумием заводить младенца во время войны, в эвакуации, в нищете и болезни. Но нам с Сергеем так хотелось иметь ребенка! Мама не только не попыталась нас образумить, но, напротив, горячо поддержала. Давно уже она бросала на нас с мужем неодобрительные взгляды и приговаривала: «Сухо дерево…» Я сразу же перестала принимать хинин – единственное лекарство против малярии, но болезнь, чудесным образом, прошла сама и никогда больше не возвращалась. Вот так, в ноябре 1944 года у нас родился сын, названный, в честь моего брата, Евгением.

С ребенком пришли новые радости и новые заботы. Его нужно было купать, а дождевой воды было мало. Наши друзья и соседи приносили кто тазик, кто миску, кто чашку воды. Воду нужно было еще и нагреть, а топить печку нечем. Сергей мог бы попросить в правлении немного дров, но ему было «неудобно». Удобно-неудобно, но ребенка-то надо купать! Я, наконец, рассвирепела, схватила топор и отправилась в школьный сад рубить старую, сухую грушу. За этим занятием меня застал проходивший мимо милиционер и строго спросил: «Девочка, а где твоя мамка работает?» – «Мамка моя нигде не работает, – сердито отвечала я, а мой муж работает директором школы». Милиционер растерянно похлопал глазами и отошел.

Не помню уже, в связи с этим событием или нет, но Сергею выделили лошадь с телегой, чтобы привезти с поля стебли подсолнечника, которыми в этой степной местности обычно топили печки. Получить лошадь – редкая возможность, и местные мужики использовали ее сполна, умело укладывая огромные возы. Сергею помощника дать не догадались, а попросить ему опять-таки было «неудобно». Долго он бился, укладывая непослушный подсолнечник, но все напрасно: стебли сыпались с телеги, даже когда она стояла неподвижно. Наконец, он отчаялся, сел на кое-как сложенные стебли и повернул лошадь к дому. У станицы в этот вечер был, можно сказать, праздник. Впереди бежали вездесущие мальчишки и, давясь от смеха, кричали: «Смотрите, смотрите! Директор воз везет!» Народ высыпал на улицу, предвкушая развлечение. Когда показалась телега с Сергеем, сидящим на жалкой кучке подсолнечника, люди просто попадали от хохота. Мужики, конечно, на все лады именовали то место, под которым он уместил свой «воз». Слегка смущенный Сергей смеялся вместе со всеми. В результате топку нам все же кто-то привез, а знаменательный случай был отмечен в нашей стихотворной летописи. Нора, я и Сергей давно уже развлекались тем, что сочиняли бесконечную шуточную «поэму», где описывали все наши злоключения. Жаль, что мы ее не сохранили, но эти строчки я почему-то запомнила:

«Супруг ее, Серджу, однажды привез
Подсолнечной топки малюсенький воз».

Не сохранилась, конечно, и наша обширная переписка с друзьями и родными. Письма шли со всех концов страны: из освобожденного Ленинграда, из Саратова, куда был эвакуирован университет, из Башкирии, где отбывали ссылку мать Сергея и его сестра с мужем , из Татарии и Сибири, куда эвакуировались наши родственники. Приходили письма с фронта от моих бывших одноклассников. Не было писем только от самых близких людей – нашего брата и Нориного мужа…

В самом начале войны маме гадала на картах цыганка. «У тебя на фронте двое, один кровный, другой некровный – сказала она. Некровный вернется, хотя и позже других. А кровного будешь ждать всю жизнь, но все-таки дождешься».

Ян вернулся домой в 1947 г., шесть лет он находился сначала в немецких, а потом в наших концлагерях. Он чудом остался в живых благодаря находчивости своего друга. К сожалению, я не помню имени этого человека. Они попали в плен в самом начале войны, под Гатчиной. Немцы построили пленных и скомандовали: «Жиды и коммунисты – шаг вперед!» Наивный Ян хотел уже сделать этот шаг, но друг яростно шепнул: «Ты что, рехнулся?! Документов нет, никто не узнает!» У Яна, к счастью, была не характерная для еврея внешность – голубые глаза и светлые, вьющиеся волосы. Эти кудри все же вызвали подозрение у одного немца. Проходя вдоль строя пленных, он остановился рядом с Яном, взял двумя пальцами прядку его волос и, усмехнувшись, спросил: «Юде?» – «Нет» – коротко ответил Ян, но немец не отходил, продолжая подозрительно оглядывать его с головы до ног. «Да что вы! – горячо заговорил его друг, – он же латыш, мы росли вместе, я всю его семью знаю!» Немец недоверчиво покачал головой, но прошел дальше. Так Ян, проведя четыре года в фашистских концлагерях, избежал газовой камеры. Как известно, наш великий вождь изрек: «У нас нет пленных, у нас есть предатели». Поэтому после окончания войны Яна, как и других советских узников, отправили прямиком в Сибирь, в сталинский концлагерь. Ему еще повезло, его сравнительно быстро (через два года) выпустили. О Евгении же пришло извещение: «пропал без вести». Мама всю жизнь ждала и надеялась, что он тоже попал в плен, что оказался за границей, что боится дать о себе знать… Я, по правде сказать, в это не верила: Женя очень любил маму, не может быть, чтобы он не нашел способа послать ей весточку. Мама так и не дождалась сына; наверное, цыганка ошиблась, а, может быть, она просто пожалела несчастную мать.

Наши войска приближались к Берлину, мы ждали со дня на день известия о победе. Наконец прозвучало долгожданное сообщение о капитуляции Германии. Как в 1941-м, люди толпились на улице вокруг репродуктора, но теперь они обнимались и плакали от счастья. Однако весна 1945 г. вместе с огромной радостью принесла нам и тягостную неуверенность относительно собственного будущего. Из писем близких мы знали, что наше единственное достояние – комната в коммуналке уже кем-то занята, но не это являлось главной заботой. По условиям того времени нельзя было просто сесть в поезд и ехать домой. В Ленинград можно было вернуться только при наличии официального вызова от какой-нибудь

В. Н. Сукачев (1880—1967) — ботаник, лесовед и географ, основоположник биогеоценологии, академик АН СССР.

Г. А. Новиков (1910 – 1980) – зоолог, в 1941 г. ассистент кафедры зоологии позвоночных Ленинградского университета. Участник войны, награжден орденами и медалями. Доктор наук, профессор, автор нескольких научных монографий.

О. Н. Петров (1916 – 2000) – зоолог, в 1941 г. ассистент кафедры зоологии позвоночных Ленинградского университета. Имел специальность летчика-истребителя, воевал, имел боевые награды. Кандидат наук, доцент. В последние годы – заведующий кафедрой зоологии Сыктывкарского университета.

Евгений Абрамович Могильников (1913 – 1941) – инженер, занимался ракетной техникой, работал в Конструкторском бюро.

Сергей Михайлович Муравьев (1910 – 1979) – учитель математики, впоследствии городской методист, заслуженный учитель РСФСР.

Элеонора Абрамовна Могильникова (1910 – 1995) – инженер-экономист.

Яков Григорьевич Колкер (1913 – 1993) – инженер-строитель.

Сальма Матвеевна Могильникова (1889 – 1964) – окончила петербургскую частную гимназию с художественным уклоном, затем освоила специальность фармацевта.

Михаил Николаевич Муравьев (1870 – 1916) – подполковник царской армии.

Нина Александровна Акатова (1910 – 1993) – биолог, кандидат наук, многие годы была ученым секретарем Зоологического института АН СССР.

Сергей Сергеевич Смирнов (1908 – 1942) – биолог, научный сотрудник Зоологического института АН СССР.

организации или учреждения. Упорные слухи, что людей, проживавших на оккупированных территориях, в Ленинград не пустят, приводили нас в отчаянье. Мы всегда тосковали по Ленинграду, а от мысли, что нам не вернуться туда никогда, тоска становилась просто невыносимой. Норе удалось завербоваться на работу в одно из ленинградских предприятий, и вскоре она уехала. Мы с Сергеем снова обратились за помощью к нашему верному другу – Мих-Миху, он обещал похлопотать о вызове. Начались летние каникулы, но отдых был нам не в радость, мы места себе не находили от тревоги и нетерпения. Наконец, в конце лета пришел долгожданный вызов!

Как только решился вопрос с отъездом, захлестнула боль расставания. Последние дни прошли в хлопотах и волненьях. Хотелось на прощание зайти в каждый дом, вспомнить пережитое вместе, поблагодарить всех, кто помогал нам в эти годы. Мы раздаривали на память какие-то вещи, давали шутливые наставления своим ученикам, упрашивали друзей позаботиться о наших собаках и кошке. И вот позади проводы, объятия, слезы… Последний раз мы проехали на повозке по знакомой дороге до станции Малороссийская. Уже погрузившись в наш товарный состав, мы несколько суток не трогались с места, ожидая, когда дадут паровоз. Его первый гудок прозвучал для нас как музыка.

Нищие, бездомные, с грудным ребенком на руках, мы тряслись в товарном вагоне и были совершенно счастливы: война кончилась, мы остались живы, и мы ехали домой, мы возвращались в свой любимый Ленинград!

М. М. Петров (1914 (?)-1972) – учитель химии, после войны много лет – директор техникума.

Абрам Самсонович Могильников (1877 – 1931) – фармацевт.

Александра Владимировна Муравьева (Николаева) (1873 – 1956); Наталья Михайловна Акатова (Муравьева) (1901 – 1985), окончила гимназию, работала машинисткой-стенографисткой; Анатолий Павлович Акатов (1891 – 1990), окончил духовную семинарию, был регентом церковного хора.

Пояснения диалектных выражений:

«Что же мне, душиться, через вас?» – что мне из-за вас, повеситься?
Костерили – ругали.
Забижайтесь – обижайтесь.
Не бреши – не ври
Дохтур – доктор
Языком треплет – болтает
Турма – тюрьма
Утекли – убежали
Образина – уродина
Подлюка – подлая, бессовестная
Балаболка – болтун
Лопочет- неразборчиво говорит
Москали – пренебрежительное наименование русских.